



Крестьянские
речь и голоса в
«Записках охотника»
И. С. Тургенева и
прозе о крестьянах
до отмены
крепостного права

**Алексей Владимирович
Вдовин**

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»,
Москва, Россия

Peasant Speech
in Ivan Turgenev's
"A Sportsman's
Sketches" and
Russian Fiction
Before the
Emancipation

Alexey V. Vdovin

HSE University,
Moscow, Russia

Резюме

В статье на обширном материале первой половины XIX в. рассматривается репрезентация крестьянской речи в рассказах из крестьянского быта до отмены крепостного права. Автор показывает, что на протяжении всего указанного периода писатели постепенно увеличивали долю диалектных («областных») слов в речи персонажей из крестьян. Апогей этой тенденции пришелся на середину 1850-х гг. и коррелировал, с одной стороны, с бурным развитием этнографического и диалектологического знания в Российской империи, а с другой — с формированием особого режима

Цитирование: Вдовин А. В. Крестьянские речь и голоса в «Записках охотника» И. С. Тургенева и прозе о крестьянах до отмены крепостного права // *Slověne*. 2022. Vol. 11, № 2. С. 168–186.

Citation: Vdovin A. V. (2022) Peasant Speech in Ivan Turgenev's "A Sportsman's Sketches" and Russian Fiction Before the Emancipation. *Slověne*, Vol. 11, № 2, p. 168–186.

DOI: 10.31168/2305-6754.2021.11.2.8

эстетической репрезентации крестьян как «других» по отношению к образованной элите. Для наиболее полного раскрытия субъективности и субъектности крестьян в прозе требовалось изображать их речь одновременно и как в целом понятную читателям, и как фонетически и лексически отличную от нее. При этом степень такого отклонения должна была быть не очень существенной, за чем критики следили и постоянно дебатировали тонкую грань между типически достоверным и «неадекватным». Различные варианты репрезентации крестьянских голосов и речи анализируются в статье на материале прозы как канонических (И. С. Тургенева), так и периферийных авторов (И. И. Запольский, А. В. Никитенко, А. Ф. Мартынов, Е. П. Новикова).

Ключевые слова

крестьяне в литературе, русская проза первой половины XIX в., репрезентация, сказ, речь, голос, диалектная речь

Abstract

The article focuses on the representation of peasant speech in short stories from peasant life published before the abolition of serfdom in 1861. The author shows that throughout the entire period, writers gradually increased the ratio of dialect («regional») words in the speech of peasant characters. The culmination of this trend came in the mid-1850s and correlated, on the one hand, with the rapid development of ethnographic and dialectological knowledge in the Russian Empire, and, on the other hand, with the formation of a trend towards the aesthetic representation of peasants as “others” in juxtaposition to the educated elite. In prose, to make the subjectivity of peasants more embodied, it was necessary to depict their speech as generally understandable to readers, and at the same time — as phonetically and lexically different from it. The degree of such deviation was supposed to be not very significant, and literary critics constantly debated the fine line between ‘typically reliable’ and ‘inadequate’. The article presents various ways of depicting peasant voices and speech in the prose of both canonical (I. S. Turgenev) and peripheral authors (I. I. Zapolsky, A. V. Nikitenko, A. F. Martynov, E. P. Novikov).

Keywords

peasants in literature, Russian 19th Century Fiction, representation, skaz, speech, voice, dialects

Хотя русские крестьяне выступали героями литературных произведений уже во второй половине XVIII в. (ср. жанр комической оперы), полноправными протагонистами они сделались лишь начиная с «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина, а массово — с повестей М. П. Погодина и Н. А. Полевого 1820–1830-х гг. Не подлежит сомнению, что эти авторы сыграли важную роль в развитии жанра, который к началу 1850-х гг. получил название «рассказ из простонародного (иногда — крестьянского) быта» [Соколова 2009: 126–148; Вдовин 2016]. Именно в этих,

часто незатейливых, повествованиях, нередко построенных как трагическая история бесправия, рассказанная солдатом, крестьянином или извозчиком образованному повествователю, оттачивались характерные особенности жанра. Основываясь на изучении большого массива прозаических текстов о крестьянах, написанных с конца XVIII в. и до отмены крепостного права в 1861 г.¹, можно утверждать, что «рассказ из крестьянского/простонародного быта» обладал как минимум четырьмя постоянными признаками: 1) протагонистичность (крестьянин или простолюдин должен был быть главным персонажем), 2) этнографизм, 3) репрезентация простонародной (крестьянской) речи и 4) изображение простонародного (крестьянского) мирозерцания.

В предлагаемой статье в центре внимания окажется лишь один признак — передача крестьянской речи и голоса² как в канонических литературных произведениях («Записки охотника» И. С. Тургенева), так и в малоизвестных (рассказы А. В. Никитенко, А. Ф. Мартынова, Е. П. Новикова и др.). Сразу же следует оговорить, что лингвистические характеристики речи литературных героев выступают лишь поводом для исследования классической литературоведческой проблемы — миметического изображения (репрезентации) реальности в раннем русском реализме. Как мы постараемся показать, художественная проза до 1861 г. (а по сути, и позднее), хотя и значительно расширила зону допустимого присутствия диалектной речи в устах крестьян, налагала на нее довольно жесткие рамки, за которые мало кто из авторов решался выходить. Более того, речь выступала коррелятом мышления и сознания персонажей, и именно в силу этого ее нельзя рассматривать в чисто лингвистическом аспекте, в отрыве от более широкой проблемы эстетической репрезентации и ее исторически изменчивых режимов.

Прежде чем обратиться непосредственно к речи и голосу, необходимо сказать, что установка на достоверную и аутентичную их передачу проистекала из этнографизма как рамочного направления (в каком-то смысле даже «духа времени») для писателей и людей науки того времени. Этнографизм был предопределен самой тематикой: достоверно рассказать о крестьянской жизни в эпоху формирующегося в

¹ Мы ограничили литературный материал именно этой датой, поскольку после освобождения крестьян жанр теряет социальную остроту, его границы становятся подвижными и проницаемыми, а в плане содержания изображение крестьян постепенно начинает все более сближаться по технике с репрезентацией представителей других сословий.

² Мы приняли решение сузить объект рассмотрения именно до крестьянской речи (всех типов существовавших в Российской империи крестьян), выводя за пределы этой статьи особенности речи других групп простолюдинов (мещан, рабочих, инородцев и др.), а также просторечие, которое, само по себе, не может считаться маркером крестьянской речи и было характерно для литературного изображения речи мещан, купцов и др.

России реализма было возможно только за счет включения в текст этнографического материала — описания быта, ритуалов, языка и фольклора. Литературный этнографизм, таким образом, был органической частью более широкого этнографического бума конца 1840-х гг., когда под эгидой учрежденного в 1845 г. Императорского русского географического общества формируется особый научный дискурс, интенсифицируется сбор этнографических материалов, выстраивается научная инфраструктура [Knight 1998]. Отдельным направлением деятельности внутри этнографического тренда становится картографирование и сбор лингвистического материала в различных губерниях, организованный Вторым отделением Академии наук. Уже в 1852 г., одновременно с публикацией «Записок охотника» отдельной книгой, русская публика могла познакомиться с впечатляющим списком диалектных или «местных», «областных», как тогда говорили, слов, собранных Академией в «Опыте областного великорусского словаря»³. Научный, публицистический и литературный дискурсы 1840–1850-х гг., таким образом, поддерживали друг друга и образовывали единое сложно устроенное пространство.

Если говорить о художественной прозе, то на текстуальном уровне этнографизм проявился в прозе о крестьянах в трех распространенных приемах. Во-первых, писатели старались охватить как можно больше социальных групп крестьян и реалий их земледельческого, торгового или дворового быта. Так, в рассказе А. Ф. Писемского «Питершик» (1852) показана судьба Клементия — крестьянина-отходника в Петербурге. В «Антоне-Горемыке» (1847) Д. В. Григоровича перед читателем разворачивается картина крестьянской нищеты Антона, у которого забирают последнюю лошадь, а в «Хоре и Калиныче» И. С. Тургенева, напротив, — крепкого и даже состоятельного крестьянского хозяйства оброчного крестьянина Хоря. Во-вторых, для создания деревенского антуража писатели часто делали экскурсии в традиции и ритуалы крестьян — свадьбы, похороны, посиделки, гадания, ворожбу, знахарство, коновальство и т. п. В «Деревне» Григоровича описание крестьянской свадьбы занимает несколько страниц и подано в частности с точки зрения помещицы, отмечающей для себя экзотичность и странность этого простонародного обряда. Наконец, многие рассказы о крестьянах были проникнуты русским, украинским и другим славянским фольклором: авторы вставляли в текст народные песни, присказки, пословицы и поговорки, а герои со вкусом рассказывали многочисленные народные поверья и преданья [Прийма 1976; Uspenskij 2021: 106–114].

³ Программу для него разработал основоположник отечественной диалектологии проф. И. И. Срезневский. См.: [Балахонова 1961].

Частным, но весьма важным случаем этнографизма в литературе до 1861 г. был неуклонно возрастающий интерес к крестьянским речи и голосу. Во многих рассказах образованный повествователь давал героям возможность поговорить о себе, либо имитировал устную крестьянскую речь в виде сказа [Banfield 2005]. Если в первом случае крестьянин выступал как рассказчик и его речь подавалась от первого лица, во втором повествователь принимал обличие реального простолюдина, речь которого, несмотря на явные отклонения от нормы, все же должна была быть понятна читателю. Как покажет представленный ниже анализ текстов, важно различать языковую и акустическую (голосовую) стороны изображаемой крестьянской речи. С языковой точки зрения, ее передача в художественном тексте требовала от автора тщательного наблюдения над лексикой, грамматикой, синтаксисом и артикуляцией реальных крестьян. В акустическом же аспекте, как мы увидим, на первый план выдвигались такие характеристики, как тон, тембр, темп и высота, а также связанные с ними певческие возможности. В таких этапных произведениях, как «Записки охотника» Тургенева все эти речевые и голосовые характеристики крестьян играли важнейшую роль для конструирования крестьянской субъективности, а благодаря ей в конечном счете и субъектности⁴. Речь и голос объединял такой параметр, как устность, которая, в свою очередь, выступала важнейшим маркером «крестьянскости», поскольку большинство крестьян в Российской империи тогда были неграмотны. Крестьянин в литературном произведении полнее всего субъективировался именно через стихию устной речи, позволявшей писателям создавать субъективность своих героев вне письменного слова, чтения и литературности, характерной для образованных сословий⁵.

* * *

Воспроизведение речи крестьянина в русской литературе прошло долгий путь, прежде чем приблизилось к имитации реального произношения, со всеми его специфическими лингвистическими и звуковыми отклонениями от условной литературной нормы. Несмотря на то что разговорная крестьянская речь, обильно уснащенная просторечием и регионализмами проникла на русскую сцену еще в последней трети

⁴ Субъектность понимается здесь в социологическом и культурно-антропологическом смысле как способность человека действовать, совершать выбор и быть субъектом принятия решений.

⁵ Следует подчеркнуть, что наряду с неграмотными крестьянами русская литература первой половины XIX в. знает многочисленные случаи образованных и читающих мужчин-крестьян. Они в этой работе не рассматриваются.

XVIII в. в комической опере А. О. Аблесимова «Мельник-колдун, обманщик и сват» (1782), в прозе скорость демократизации литературного языка была гораздо более низкой. Авторы рубежа XVIII–XIX вв. боялись нарушить конвенции и изобразить «неправильный», «неблагозвучный» и часто совсем непонятный для образованного человека крестьянский говор. Тем не менее уже в 1798 г. И. И. Запольский в очерке «Извозчик», вводя прямую речь своего героя, в сноске следующим образом оправдывает аутентичность при ее передаче: «Истина не требует украшения; и потому я рассудил — извозчицьи слова изобразить самым простым крестьянским наречием» [Запольский 1798: 403, сноска]. Однако в речи старика (около 60 лет) мы не найдем ни одного непонятого просторечного слова, кроме «вить» (ведь) или обращения «сударик», хотя лексически и синтаксически речь организована более просто и свободно, нежели сентиментально возвышенная и риторически изощренная речь нарратора. Очевидно, что в стилистическом и семиотическом плане просторечие извозчика оказывается противопоставлено сентиментальному регистру повествователя, но никакой иной лингвистической информации оно не несет. Ни повествователь, ни сам герой не сообщают, в какой губернии или городе происходит действие и из какой местности происходит старик. Ясно, что в рамках просветительской идеологии журнала «Приятное и полезное препровождение времени» это не имеет никакого значения.

Если рассмотреть более поздний, но в той же степени этапный для нашей темы рассказ М. П. Погодина «Нищий» (1826), то встреченный образованным повествователем на московской Покровке отставной солдат Егор вполне литературным языком рассказывает о своей судьбе. Причина проста: он обучался грамоте у сельского дьячка и запомнил много книг, вытверживая их наизусть. В отличие от географически и лингвистически неопределенного места у Запольского, герой Погодина происходит из крестьян Орловской губернии (недалеко от Мценска), однако это никак не передается на лингвистическом уровне его речи. О голосе же Егора мы не узнаем ничего кроме того, что он «тихий».

Только ко второй половине 1840-х гг., с возникновением Натуральной школы и расцветом физиологического очерка просторечие и стилизация характерной крестьянской речи возникают в прозе как целенаправленно создаваемая репрезентация реального говора, хотя степень ее отклонения от фонетической и лексической нормы остается небольшой. Поворотным моментом в истории изображения крестьянской речи и голоса в эту эпоху стали «Записки охотника» Тургенева, которые, напомним, последовательно печатались как рассказы и очерки в «Современнике» с 1847 по 1851 г. Никогда не отмечалось, что как

минимум в четырех рассказах — «Хоре и Калиныче», «Бежином луге», «Касьяне с Красивой Мечи» и «Певцах» Тургенев создал беспрецедентно индивидуализированные по меркам того времени репрезентации крестьянских и простонародных голосов и речи, которые обладали особым звуковым и интонационным разнообразием. По мнению М. Долара, произношение, акцент, диалект — «норма, отличающаяся от доминирующей нормы. [...] Интонация — это еще один способ осознания голоса, поскольку особенный тон голоса, его специфические мелодика и модуляция, ритм и изменения интонации могут повлиять на смысл» [Долар 2018: 84]. Наблюдения Долара позволяют объяснить незамеченный способ создавать субъективность героев из крестьян и на фоне предшествующей традиции 1820–1830-х гг. отдать пальму первенства именно Тургеневу.

Уже в первом очерке будущего цикла «Хорь и Калиныч» рассказчик-охотник акцентирует внимание на речевой составляющей индивидуальностей двух контрастных героев: «Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика» [Тургенев 1979: 17]. Образцы речи внешне напоминающего Сократа Хоря даны в подтверждение этой аналогии, которая должна была казаться и казалась современникам чересчур форсированной.

В «Бежином луге» рассказчик, притворившийся спящим и, очевидно, вынужденный подслушивать с закрытыми глазами, описывает тембр голоса и особенности речи почти каждого из мальчиков. В голосе Павлуши «звучала сила» [Тургенев 1979: 91], голос Ильюши — «сиплый и слабый» [Ibid.: 92], а голосок Кости — «тонкий» [Ibid.: 94]. Более того, все рассказы мальчиков наполнены звуками — проявлениями нечистой силы: в рассказе Ильюши домовая дает о себе знать на рольне разными звуками; Павлуша, подойдя к воде, якобы слышит голосок утопленника Васи, который зовет его за собой. Этим акустическим сигналам из потустороннего мира вторят звуки ночи — вопль цапли, всплеск крупной рыбы, лай собак, странные шорохи. Ночная атмосфера, санкционированная богатой романтической традицией, как нельзя лучше способствует усилению звуковых эффектов, передающих обстановку сидения у костра и слушания страшных историй⁶. Характеры мальчиков обретают индивидуальность во многом благодаря их речи и тембру голоса, интонации рассказа, потому что другого способа описать эти характеры у рассказчика-охотника просто нет: он не владеет историями об их прошлом и ограничен в изображении их поступков, за исключением того, как отважно Павлуша отправляется за собаками. Обращает на себя внимание и взрослость речи подростков: мальчики серьезно ведут

⁶ Об акустическом слушании в рассказе см. статью: [Сафран 2020].

рассказ и не по-детски эффектно слагают страшные истории, выступая едва ли не в роли «сказителей».

В другом рассказе цикла — «Касьян с Красивой Мечи» — субъективность и, в частности, странность заглавного героя конструируется не в последнюю очередь благодаря описанию его речевой манеры и тембра голоса: «Станный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. В нем не только не слышалось ничего дряхлого, — он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен» [Тургенев 1979: 110]:

— У рыбы кровь холодная, — возразил он с уверенностью, — рыба тварь немая. Она не боится, не веселится: рыба тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней и кровь не живая... Кровь, — продолжал он, помолчав, — святое дело кровь! Кровь солнышка божия не видит, кровь от свету прячется... великий грех показать свету кровь, великий грех и страх... Ох, великий!

Он вздохнул и потупился. Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью: так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык, обдуманно-торжественный и странный... Я не слышал ничего подобного [Ibid.: 116–117].

Рассказчик-охотник подчеркивает странность речи и стилового регистра Касьяна (торжественность), по которым исследователи признали принадлежность героя к секте бегунов [Бродский 1922: 3–24; Клуге 1986]. Конечно, манера героя необычно выражаться понадобилась Тургеневу в первую очередь для того, чтобы намекнуть читателю на социальную группу, к какой имеет отношение Касьян, однако не менее важным следствием такого авторского выбора становится бросающаяся в глаза индивидуализация голоса крестьянина, превращающая его в «человека неабнакавенного», «юродивого», сочиняющего и распевającego песенки [Тургенев 1979: 123]. Можно предполагать, что такая речь вряд ли была типичной для крестьянина конца 1840-х гг., если сам рассказчик находит ее «не мужичьей». Для нашего исследования вопрос о референциальности не имеет значения: безотносительно к достоверности, эффект голосового присутствия существенно превосходит принятую в дотургеневской прозе манеру представлять речь крестьян.

Кульминации в этом направлении Тургенев достигает в «Певцах», где сами голоса становятся предметом изображения и сюжетной интриги⁷. Как и следует ожидать от отчетливо проступающей в «Певцах»

⁷ Это дало повод известному фольклористу Б. М. Соколову с сожалением заметить, что «Тургенев занимается в этом случае более характеристикой голоса и описанием того впечатления, какое произвело его пение на слушателей, чем характеристикой приемов и "стиля" песенного исполнения» [Соколов 1920: 214].

пасторальной традиции [Durkin 1994; O'Bell 2004], обогащенной романтической мифологией состязания певцов [Потапова 2003], характерность героев слагается из детализированного описания акустики певческих голосов, а не речи двух соперников — жиздринского рядчика и Яшки-Турка. Заметим, что первый именуется в тексте «городским мещанином», а второй — черпальщиком бумажной фабрики, т. е. рядчик не является крестьянином, а Яшка, скорее всего, таков по происхождению, но трудится на фабрике [Тургенев 1979: 217].

Примечательно, что рассказчик отдает предпочтение именно пению крестьянина Яши. Голос и пение безымянного рядчика описаны рассказчиком как вычурные и претенциозные, напоминающие о европейской — итальянской или французской — оперной исполнительской традиции:

...рядчик [...] запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и вилял этим голосом, как юлюю, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особым старанием, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришел бы от них в негодование. Это был русский *tenore di grazia, ténor léger* [лирический тенор. — А.В.] [Тургенев 1979: 219].

В отличие от голоса рядчика, пение Яши-Турка описано иначе: его голос изображается как нечто не принадлежащее телу героя и нисходящее на него извне («не выходил из его груди, но принесся откуда-то издали, словно залетел случайно в комнату»). Если пение рядчика наделено механическими коннотациями (уподоблено механической юле) и не содержит никаких эмоций, то голос Якова, будучи особой сущностью, уподоблен струне, способной передавать широкий спектр состояний и чувств:

Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более — он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся [Ibid.: 222].

Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили меня... [Ibid.].

При всей техничности пения рядчика, его голос в описании рассказчика лишен внутренней силы и страсти, составляющих основу русской песни и русской души⁸. В конце концов именно к душе приравнивается голос Якова. Перед нами, таким образом, классическая для романтической эстетики оппозиция наделенного негативными коннотациями механического и органического, ассоциируемого с национальным и духовным. Так в «Певцах» едва ли не впервые в прозе о простонародье русскость оказывается заключенной в концепте «голоса» и воплощенной в пении черпальщика с бумажной фабрики, скорее всего из крестьян⁹, парадоксальным образом лишь наполовину русского: он был сыном пленной турчанки и потому прозван Турком¹⁰ [Ibid.: 217].

Несмотря на явное доминирование репрезентации голоса над речью, «Певцы» дают важный, хотя и почти не замеченный образец диалектного и малопонятного говора. Обалдуй, завидев в кабачке пришлого жителя Полесья, пародирует его непонятную речь:

А, заворотень-полеха! — завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, усталился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. — Полеха! полеха! Га, баде паняй, заворотень! Зачем пожаловал, заворотень? — кричал он сквозь смех [Ibid.: 221].

В сносах Тургенев приводит расшифровку странных выражений, подчеркивая обособленность жителей орловского Полесья, их замкнутую субкультуру, отличавшуюся особой лексикой. В «Записках охотника» наряду с этим встречается еще несколько случаев вкрапления диалектной речи (см. о них: [Старенков 1959; Прийма 1976: 376–378; Бахвалова, Попова 2007; Ретинская, Аркаш 2017: 125–128]), однако они в целом не меняют вполне нейтрального, с минимальной примесью регионализмов, статуса крестьянского слова в цикле рассказов.

На фоне сглаженной речи тургеневских крестьян и дворовых другие голоса в некоторых близких к физиологиям очерках 1846–1849 гг.

⁸ Музыкально-этнографический комментарий к «Певцам» см. в известной работе: [Азадовский 1960: 413–432].

⁹ Поскольку речь идет о бумажной фабрике (одна из них принадлежала брату Тургенева), то можно предполагать, что большинство работников на нее нанимались из окрестных деревень.

¹⁰ Такое происхождение вряд ли случайно: как показывает недавнее исследование, в конструировании идентичности персонажей Тургенев не был склонен к эссенциализму и нерелексивному национализму [Фомина 2014].

отличаются натурализмом. Так, в коротком очерке А. В. Никитенко «Похождения мужичка в Питере» (1847) образованный рассказчик подслушивает на постоялом дворе беседу мужичков, отошедших на заработки в столицу и коверкающих названия незнакомых питерских реалий:

— Да он, дядя, все в Питере. Перва на перво он был в Кромшлате; там, вишь ты, новую чудодель ладили, там он у подрядчика жил в десятниках; а топеря он в киастре ланьпы зажигает [Никитенко 1847: 22].

Помимо традиционно искажаемых в народе наречий «сперва» и «теперь», крестьянин Митя на свой лад переиначивает название Кронштадта, театра, ламп (а далее «лопусов» вместо «глобусов»), а также и вовсе изобретает слово «чудодель». Тем не менее нельзя сказать, что плотность искаженных слов в речи героев очерка высока: за исключением новых для них реалий, остальные описания более традиционных явлений быта и жизни не содержат серьезных отклонений и не препятствуют пониманию. Можно утверждать, что, если предмет речи замкнут в пределах крестьянской жизни, вероятность возникновения малопонятных слов остается довольно низкой.

Апогей в имитации крестьянского диалектного слова пришелся на середину 1850-х гг. Критики той эпохи сами указали на своего рода «антирекорд»: по мнению П. В. Анненкова, наименее понятной образованному читателю была крестьянская речь в рассказе А. Ф. Мартынова «Рыбак» (1853). Позволим себе привести пространную цитату:

Прошло эдак с добрых неделю. Сидим мы с Наташей повечеру у котелка; поседать собрались, прежде чем ей-ту на сон идти, а мне к удам; хороши по вечеру клевы живут. Солнышко садилось; вечер был важный такой, и рыбе надо бы ходко идти. Ну, и сидим мы-то: ложке, чай, по первой не успели во рту помарать, — глядь... отколе ни возьмись, позапрошлой. Меня индо морозом по спине дернуло (знать чуюло сердчишко); а Наташа — где петь!.. Как держала у рта ложку, так и не смигнет, словно-те бахмур какой нашел. «Хлеб-соль, — молвил, — добрые люди?». «Хлеба-соли кушать», — молвил и я в тапоры... Да кто его знал; в душу людскую не влезешь ведь!.. «Пустите, — байт, — меня с вами ухи похлевать: голод уморил, а я за все про все заплачу». «Уж и стал ли, — говорю, — вам с нами из одного корыта снедать... Буде вашей милости в угоду — мы тебе другую ушицу доспеем, уж такую, что в рот, то спасибо! Рыбки не занимать-стать — и седни Бог не обидел. Волишь: утренничка сварганю — стерлядок там, али молимое (налимов), аль иной прочей — всякой вволюшку». «Ладно, — говорит, — старик — сваргань, а тебе обиды не будет». «Какая, мол, обида! обидишь меня — тебя Господь обидит...» «Но переждай — байт, — вашей проотведать, умаялся добре!..» Силком, почитай, отнял ложку у Наташи моей, — ну, и швыркнул раз,

другой... Что ему загорелось больно — Бог его ведаёт! аль и вправду петит пронял [Мартынов 1853: 63–64].

Анненков в 1853 г. еще не мог объяснить, что эффект неясной речи главного героя рассказа Фоки возникает благодаря характерным приметам вятского говора, поскольку действие происходит, как легко установить по раскрываемым топонимам, в Слободе Кукарке Вятской губернии (ныне г. Советск Кировской области). Будучи уроженцем этого города и потомственным купцом, Мартынов всю жизнь занимался собиранием фольклора и этнографического материала в этом регионе и Поволжье и, очевидно, совершенно сознательно пытался передать на письме фонетику и лексику вятской звучащей речи [Никитина, Мартынов 1994: 532]. «Переполненный излишними провинциализмами» рассказ не встретил сочувствия и у обозревателя «Отечественных записок» С. С. Дудышкина¹¹, который, хотя и хвалил характер протагониста, отказывал языку в правдоподобию:

В характере этом нет фальшивого геройства, но зато чрезвычайно много фальшивого в языке самого очерка. В этом, будто бы простом, рассказе видишь заученные фразы, которые обличают труд автора, подбирившего их. Язык наших простонародных рассказов, как и великосветских повестей, несмотря на крайности сюжетов, страдает часто одним и тем же недостатком — отсутствием простоты и естественности [Дудышкин 1853: 60].

Парадоксальным образом критики упрекали Мартынова за ту самую этнографическую точность, к которой он стремился одним из первых в прозе того времени, откликаясь на этнографический бум, описанный нами выше. Однако эстетические конвенции в репрезентации живой крестьянской речи в глазах критиков оставались настолько жесткими, что не позволяли авторам приводить необработанную разговорную речь, как бы точно она ни соответствовала реальному произношению.

Та же история повторилась в 1855 г. с двумя повестями Е. П. Новикова — дипломата, богемиста и писателя-дилетанта, опубликовавшего под псевдонимом «Е. Данковский» две повести из простонародного быта в «Отечественных записках». В мелодраматическом «Горбуне» речь горбатого протагониста Феклиста отличается большим числом диалектизмов и местами не до конца понятна тем, кто не знает их значений. Вот лишь один из многочисленных примеров:

— Неколи, Савелий Артемыч, неколи. Должность-то моя така хлопотливая, трудная. Иной и ночи прихватываешь. Да и нездоров-то я: кашель одоле-

¹¹ Обозрение «Журналистика» в этом номере атрибутируется ему Б. Ф. Егоровым [Егоров 1962: 225].

вает; так грудь и мозжит. Зачни у меня с пояски будто: все мои суставы у мене как из нея вон летят. Как человек будто пыряет по спине: так и бузнечит, и вдоль, и поперег, не дает мне проходу ни маленечко [Данковский 1855: 107].

Очевидно, что по сравнению с Мартыновым Новиков (филолог по образованию и автор магистерской диссертации о «важнейших особенностях лужицких наречий» [Бокова, Новиков 1999: 337]), делал следующий шаг к еще более натуралистичной передаче диалектных черт крестьянской речи, что вызвало неоднозначную реакцию критиков. С одной стороны, обозреватель «Москвитянина» посчитал, что повесть написана «живым русским языком, видимо схваченным и подслушанным на месте [...] с его [мужика. — А. В.] странными оборотами, облекающими поверья или понятия, не менее странные» [Аноним 1855: 150–151]. С другой — все тот же С. С. Дудышкин¹², придерживаясь той же позиции, что и в случае с Мартыновым, заявил о произведении Данковского как о беспрецедентном в негативном смысле этого слова для русской литературы именно с точки зрения непонятности народной речи:

Г. Данковский, кроме того, позволил себе употребление такого крестьянского языка, которым никто до сих пор не писал. Он не побоялся, что некоторые места его повести останутся темными, что рассказ необходимо от этого много проиграет — и все-таки удержал этот темный, странный язык. Как тут быть? Где искать управы? У нас теперь много писателей, которые печатают повести из простонародного быта; каждый писатель, конечно, считает себя знатоком этого быта, но чей язык возьмем мы за образец, чтоб произнести окончательный приговор над простонародным языком г. Данковского? — вот вопрос [Дудышкин 1855: 60].

Чтобы найти хотя бы какой-то ориентир, критик апеллировал к статье В. И. Даля «Недовесок к статье “Полтора слова о русском языке”» («Москвитянин», 1842), в которой автор «Толкового словаря живого великорусского языка» констатировал невозможность указать на образец простонародного языка, потому что его никто еще во всем многообразии не изучил и не усвоил. Отсылка к мнению Даля, к середине 1850-х гг. набирающего популярность эксперта в области народной речи и этнографии, переключала дискуссию в гораздо более широкий культурный контекст. Выходя за пределы сугубо литературы, Дудышкин делал вывод, что Данковский, судя по всему, внимательно собирает русскую речь и потому не должен бояться упреков в том, что она им вымышлена и якобы недостоверна:

¹² Атрибуция статьи Дудышкину также произведена Б. Ф. Егоровым [Егоров 1962: 226].

Дело другое, насколько подобная оригинальность языка может быть допущена в повести. Повесть назначается для чтения *всех* [здесь и далее курсив источника. — А.В.]; следовательно, и разговорный язык действующих лиц должен быть понятен *всем*. Может быть, со временем, когда мы более освоимся с народным языком, всякая народная речь будет для нас понятна; теперь же, пока мы начинаем изучать этот язык, когда он для нас и нов, и странным кажется, писатель должен сообразоваться с этим недостатком читателей. Но во всяком случае виноват будет здесь не писатель, а мы, публика, что плохо понимаем свой собственный разговор [Ibid.: 62].

Парадоксальность этого вывода заключалась в том, что, исходя из крайне прогрессивного утверждения об относительности любых эссенциализированных представлений о простонародном языке, Дудышкин тем не менее вменял писателям жесткую нормативность в передаче речи, подчиняя ее критерию ясности для любого читателя. Тот же самый аргумент действовал в своем анализе языка «Записок охотника» И. С. Аксаков в письме Тургеневу от 4 октября 1852 г.:

Мне пришло в голову еще одно замечание — относительно крестьянской речи. Я вообще против употребления крестьянской речи в литературе так, как она является у Григоровича и отчасти у вас. Это не свободная крестьянская речь, а копия, стоящая, по-видимому, больших усилий. Григорович, желая вывести на сцену русского мужика *вообще*, заставляет его говорить рязанским наречием, вы — орловским, Даль — винегретом из всех наречий. Мне кажется, можно вложить в уста русскому мужику русскую крестьянскую речь без этого жалкого коверканья слов, без разных ужимок, составляющих особенность местную, а иногда и личную, и не одинаковых в каждом месте. Видно, что вы копируете и к тому же частехонько не доглядываете; у вас, например, мужик беспрестанно говорит: *удивительно*. Вы могли, конечно, услышать это слово от *одного* мужика, но вообще крестьяне этого выражения не употребляют. Думая уловить русскую речь, вы улавливаете только местное наречие. Впрочем, и то сказать, вы обозначили местность, где действуют лица ваших рассказов, и это обвинение относится к вам в меньшей степени, чем к Григоровичу [Письма Аксаковых 1894: 31].

На уровне логики возникал порочный круг: обреченные воспроизводить лишь понятный максимально широкой аудитории пласт лексики, писатели утверждали то самое нормативное, лишенное «локального колорита» и тяготеющее к просторечию, представление о крестьянском языке, которое многие критики отвергали. Эта антиномия, но в другом контексте, просматривается в классическом исследовании В. В. Виноградова по истории русского литературного языка, в котором на разных страницах утверждается, что, с одной стороны, «в положительной оценке значения “простонародного”, главным образом, крестьянского языка для литературной речи сходились решительно все слои общества»

[Виноградов 1982: 231 (речь о 1810-х –1820-х гг.)], а с другой — «местные, диалектные разновидности крестьянского языка большей частью демократической интеллигенции 30–40-х годов в принципе отрицаются как материал для общелитературного языка» [Ibid.: 354]. По Виноградову, компромиссным решением этой проблемы становится опора на городское просторечие и сугубо функциональное использование регионализмов в прямой речи героев, без допуска ее в авторское повествование [Ibid.: 356]. Весьма существенно корректируя обобщающие построения Виноградова, В. М. Живов призвал разграничивать языковой стандарт, разговорную речь и литературную «имитацию оральности» в XIX в. [Живов 2017: 1127–1128]. Представленные выше примеры из прозы и ее восприятия критикой до 1861 г. подтверждают, что репрезентация крестьянской речи в литературе была полем конкурирующих проективных представлений о том, как она должна выглядеть, нежели реальным отражением языкового узуса. Литература не могла вместить всего речевого разнообразия империи, которое Срезневский, а затем Даль героически попытались зафиксировать в словарях¹³, и отторгала то «диалектное», что выходило за пределы весьма ограниченного лимита на «темноту» крестьянского языка. Можно предполагать, что за этим отторжением скрывалась не только эстетическая теория или вкус, к которым критики середины 1850-х гг. уже далеко не так часто апеллировали. Часто интуитивный запрет на превышение и без того низкого порога разборчивости и ясности крестьянской речи в прозе этой эпохи находился в прямой зависимости от представлений образованной части общества о том, как протекает процесс крестьянского мышления. Как полагает М. Долар, «речь и голос представляют собой скрытый механизм мышления, что-то, что должно предшествовать мышлению, как абсолютно механический процесс, и то, что разум должен прятать за маской антропоморфизма» [Долар 2018: 66]. Если спроецировать это наблюдение на описанную ситуацию, можно предположить, что образованные читатели воспринимали имитацию речи крестьян как иконическое отображение их сознания и мышления. Чем более членораздельной и приближенной к литературной норме она была представлена у того или иного автора, тем более рациональными и приближенными к образованной элите должны были казаться читателям крестьянские субъекты. И наоборот, чем более заумно говорили персонажи из крестьян, тем больше они воспринимались как «другие» и даже «чужие». Таким образом, речь и голос крестьян означали в литературе до отмены крепостного права нечто более функциональное и значимое, нежели производное от этнографического или лингвистического знания.

¹³ О словарном проекте Даля см.: [Vitalich 2007; Vinitzky 2020].

Библиография

Источники

Аноним 1855

[Аноним] «Горбун», повесть Евг. Данковского. Отч. записки, март, *Москвитянин*, 2(6), 1855, 137–152.

Данковский 1855

Данковский Е. Горбун. Повесть из простонародного быта, *Отечественные записки*, 99(3), 1855, отд. I, 7–130.

Дудышкин 1853

Дудышкин С. С. Журналистика, *Отечественные записки*, 9, 1853, отд. V, 54–68.

— 1855

Дудышкин С. С. Журналистика, *Отечественные записки*, 7, 1855, отд. IV, 49–68.

Запольский 1798

Запольский И. И. Извозчик, *Приятное и полезное препровождение времени*, 19, 1798, 401–412.

Мартынов 1853

Мартынов А. Ф. Рыбак. Рассказ, *Москвитянин*, 14(14), 1853, отд. I, 57–68.

Никитенко 1847

Никитенко А. В. Похождения мужичка в Питере, *Современник*, 3, 1847, Смесь, 21–27.

Письма Аксаковых 1894

Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых к И. С. Тургеневу, с введ. и примеч. Л. Майкова, Москва, 1894.

Тургенев 1979

Тургенев И. С. *Полн. собр. сочинений и писем в 30 т. Сочинения: в 12 т.* Т. 3, Москва, 1979.

Литература

Азадовский 1960

Азадовский М. К. «Певцы» И. С. Тургенева, *Idem, Статьи о литературе и фольклоре*, Москва, Ленинград, 1960, 395–437.

Балахонова 1961

Балахонова Л. И. История составления «Опыта областного великорусского словаря» и «Дополнения» к нему, *История русской диалектологии*, Москва, 1961, 98–125.

Бахвалова, Попова 2007

Бахвалова Т. В., Попова А. Р. *500 забытых и редких слов из «Записок охотника» И. С. Тургенева*, Орел, 2007.

Бокова, Новиков 1999

Бокова В. М., Новиков Е. П., *Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь*, 4, Москва, 1999, 337–338.

Бродский 1922

Бродский Н. Л. *И. С. Тургенев и русские сектанты*, Москва, 1922.

Вдовин 2016

Вдовин А. В. «Неведомый мир»: русская и европейская эстетика и проблема репрезентации крестьян в литературе середины XIX века, *Новое литературное обозрение*, 146(5), 2016, 287–315.

Виноградов 1982

Виноградов В. В. *Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков*, изд. 4-е, Москва, 1982.

Долар 2018

Долар М. *Голос и больше ничего*, С.-Петербург, 2018.

Егоров 1962

Егоров Б. Ф. С. С. Дудышкин — критик, *Ученые записки Тартуского государственного университета*, 119, 1962, 195–231.

Живов 2017

Живов В. М. *История языка русской письменности: в 2 т., 2*, Москва, 2017.

Клуге 1986

Клуге Р.-Д. Сектантство и проблема смерти в «Записках охотника» И. С. Тургенева, *Slavica (Debrecen)*, 23, 1986, 25–36.

Никитина, Мартынов 1994

Никитина И. В., Мартынов А. Ф., *Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь*, 3, Москва, 1994, 532–533.

Потапова 2003

Потапова Г. Е. Состязание певцов (к истории одного литературного мотива из «Записок охотника» И. С. Тургенева), *Риторическая традиция и русская литература. Межвузовский сборник*, П. Е. Бухаркин, ред. С.-Петербург, 2003, 146–164.

Прийма 1976

Прийма Ф. Я. И. С. Тургенев («Записки охотника»), *Русская литература и фольклор. Первая половина XIX века*, Ленинград, 1976, 366–383.

Ретинская, Аркаш 2017

Ретинская Т. И., Аркаш О. Герои «Записок охотника» И. С. Тургенева: своеобразие характеров и особенности речи, *Текст: грани и границы. «Записки охотника» И. С. Тургенева. Коллективная монография*, Орел, 2017, 103–129.

Сафран 2020

Сафран Г. Изготовление бумаги, акустическое слушание и реализм ощущений в «Записках охотника» И. С. Тургенева, *Русский реализм XIX века: общество, знание, повествование*, М. Вайсман, А. Вдовин, И. Клигер, К. Осповат, ред., Москва, 2020, 318–343.

Соколов 1920

Соколов Б. М. Мужики в изображении Тургенева, *Творчество Тургенева. Сборник статей*, И. Н. Розанов и Б. М. Соколов, ред. Москва, 1920, 194–233.

Соколова 2009

Соколова В. Ф. Народознание и русская литература XIX века, 2-е изд., испр., Москва, 2009.

Старенков 1959

Старенков М. П. Язык и стиль «Записок охотника», *Творчество И. С. Тургенева. Сборник статей*, С. М. Петров, ред., Москва, 1959, 32–68.

Фомина 2014

Фомина Е. *Национальная характерология в прозе И. С. Тургенева*, (DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS, 31), Tartu, 2014.

Banfield 2005

Banfield A. Skaz, *Routledge Encyclopedia of Narrative Theory*, D. Herman et al, eds., London, 2005, 535–536.

Durkin 1993

Durkin A. R. The Generic Context of Rural Prose. Turgenev and the Pastoral Tradition, *American Contributions of the XIth International Congress of Slavists*, Columbus, OH, 1993, 43–50.

Knight 1998

Knight N. Science, Empire and Nationality: Ethnography in the Russian Geographical Society, 1845–1855, *Imperial Russia: New Histories for the Empire*, J. Burbank, D. L. Ransel, eds., Bloomington, IN, 1998, 108–147.

O’Bell 2004

O’Bell L. The Pastoral in Turgenev’s ‘Singers’: Classical Themes and Romantic Variations, *The Russian Review*, 63(2), 2004, 277–296.

Uspenskij 2021

Uspenskij P. Статус поговорки в первой трети XIX в. и характер мысли

E. A. Бораынского: Вокруг стихотворения «Старательно мы наблюдаем свет...», *Russian Linguistics*, 45(1), 2021, 105–121.

Vinitsky 2020

Vinitsky I. Lord of the Words: Vladimir Dahl’s Explanatory Dictionary of the Living Great-Russian Language as a National Epic, *The Whole World in a Book: Dictionaries in the 19th Century*, Oxford, 2020, 190–217.

Vitalich 2007

Vitalich K. Dictionary as Empire: Vladimir Dal’s Interpretive dictionary of the living great Russian language, *Ab Imperio*, 2, 2007, 153–177.

References

Azadovsky M. K. “Pevtsy” I. S. Turgeneva, *Idem, Stat’i o literature i fol’klore*, Moscow, Leningrad, 1960, 395–437.

Bakhvalova T. V., Popova A. R. *500 zabytykh i redkikh slov iz “Zapisok okhotnika” I. S. Turgeneva*, Oryol, 2007.

Balakhonova L. I. *Istoriia sostavleniia “Opyta oblastnogo velikorusskogo slovaria” i “Dopolneniia” k nemu, Istoriia russkoi dialektologii*, Moscow, 1961, 98–125.

Banfield A. *Skaz, Routledge Encyclopedia of Narrative Theory*, D. Herman et al, eds., London, 2005, 535–536.

Bokova V. M., Novikov E. P., *Russkie pisateli 1800–1917. Biograficheskii slovar’*, 4, Moscow, 1999, 337–338.

Brodsky N. L. *I. S. Turgenev i russkie sektanty*, Moscow, 1922.

Dolar M. *Golos i bol’she nichego*, St. Petersburg, 2018.

Durkin A. R. The Generic Context of Rural Prose. Turgenev and the Pastoral Tradition, *American Contributions of the XIth International Congress of Slavists*, Columbus, OH, 1993, 43–50.

Egorov B. F. S. S. Dudyskhin — kritik, *Uchenye zapiski Tartuskogo gosudarstvennogo universiteta*, 119, 1962, 195–231.

Kluge R.-D. Sektantstvo i problema smerti v “Zapiskakh okhotnika” I. S. Turgeneva, *Slavica (Debreceň)*, 23, 1986, 25–36.

Knight N. Science, Empire and Nationality: Ethnography in the Russian Geographical Society, 1845–1855, *Imperial Russia: New Histories for the*

Empire, J. Burbank, D. L. Ransel, eds. Bloomington, IN, 1998, 108–147.

Nikitina I. V., Martynov A. F., *Russkie pisateli 1800–1917. Biograficheskii slovar’*, 3, Moscow, 1994, 532–533.

O’Bell L. The Pastoral in Turgenev’s ‘Singers’: Classical Themes and Romantic Variations, *The Russian Review*, 63(2), 2004, 277–296.

Potapova G. E. Sostiazanie pevtsov (k istorii odnogo literaturnogo motiva iz «Zapisok okhotnika» I. S. Turgeneva), *Ritoricheskaia traditsiia i russkaia literatura. Mezhdvuzovskii sbornik*, P. E. Bukharkina, ed., St. Petersburg, 2003, 146–164.

Priima F. Ya. I. S. Turgenev (“Zapiski okhotnika”), *Russkaia literatura i fol’klor. Pervaia polovina XIX veka*, Leningrad, 1976, 366–383.

Retinskaya T. I., Arkash O. Geroi «Zapisok okhotnika» I. S. Turgeneva: svoeobrazie kharakterov i osobennosti rechi, *Tekst: grani i granitsy. «Zapiski okhotnika» I. S. Turgeneva. Kollektivnaia monografiia*, Oryol, 2017, 103–129.

Safran G. Izgotovlenie bumagi, akusmaticeskoe slushanie i realizm oshchushchenii v “Zapiskakh okhotnika” I. S. Turgeneva, *Russkii realizm XIX veka: obshchestvo, znanie, povestvovanie*, M. Vaisman, A. Vdovin, I. Kliger, K. Ospovat, eds., Moscow, 2020, 318–343.

Sokolov B. M. Muzhiki v izobrazhenii Turgeneva, *Tvorchestvo Turgeneva. Sbornik statei*, I. N. Rozanov, B. M. Sokolov, eds, Moscow, 1920, 194–233.

Sokolova V. F. *Narodoznanie i russkaia literatura XIX veka*, 2nd ed., rev., Moscow, 2009.

Starenkov M. P. Iazyk i stil' "Zapisok okhotnika", *Tvorchestvo I. S. Turgeneva. Sbornik statei*, S. M. Petrova, ed., Moscow, 1959, 32–68.

Uspenskij P. The status of proverbs in the first third of the 19th century and the nature of E. A. Boratynskij's ideas: Analyzing the poem Staratel'no my nabljudаем svet ..., *Russian Linguistics*, 45(1), 2021, 105–121.

Vdovin A. V. "Unknown World": Russian and European Aesthetics and the Problem of Representing Peasants in Mid-Nineteenth-Century Literature, *Novoe literaturnoe obozrenie*, 146(5), 2016, 287–315.

Vinitzky I. Lord of the Words: Vladimir Dahl's Explanatory Dictionary of the Living Great-Russian Language as a National Epic, *The Whole World in a Book: Dictionaries in the 19th Century*, Oxford, 2020, 190–217.

Vinogradov V. V. *Ocherki po istorii russkogo literaturnogo iazyka XVII–XIX vekov*, 4th ed., Moscow, 1982.

Vitalich K. Dictionary as Empire: Vladimir Dal's Interpretive dictionary of the living great Russian language, *Ab Imperio*, 2, 2007, 153–177.

Zhivov V. M. *Istoriia iazyka russkoi pis'mennosti*, 2, Moscow, 2017.

Алексей Владимирович Вдовин, PhD,

доцент

Школы филологических наук

Национального исследовательского университета

«Высшая школа экономики»

105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, каб. а309

Россия / Russia

avdovin@hse.ru

Received May 27, 2022